

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

КТО

ВИНОВАТ?

Александр Герцен

Кто виноват?

«Public Domain»

1846

Герцен А. И.

Кто виноват? / А. И. Герцен — «Public Domain», 1846

«„Кто виноват?“ была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841 г.) и окончил гораздо позже в Москве. Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде повестей; но одна из них не написана, а другая – не повесть. В первое время моего переезда из Вятки во Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез. Разумеется, что я не сладил со своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих впоследствии стращал меня, говоря: „Если ты не напишешь новой статьи, – я напечатаю твою повесть, она у меня!“ По счастью, он не исполнил своей угрозы...»

Содержание

Часть первая	7
I. Отставной генерал и учитель, определяющийся к месту	7
II. Биография их превосходительств	11
III. Биография Дмитрия Яковлевича	18
IV. Житье-бытье	23
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Александр Герцен

Кто виноват?

А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божией, дело же, почислив решенным, сдать в архив.

Протокол

Наталье Александровне Герцен в знак глубокой симпатии от писавшего.

Москва. 1846

«Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки (в 1841 г.) и окончил гораздо позже в Москве.

Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде повестей; но одна из них не *написана*, а другая – не повесть. В первое время моего переезда из Вятки во Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтоб на нем не было видно слез¹.

Разумеется, что я не сладил со своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих впоследствии страшал меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, – я напечатаю твою повесть, она у меня!» По счастью, он не исполнил своей угрозы.

В конце 1840 г. были напечатаны в «Отечественных записках» отрывки из «Записок одного молодого человека», – «Город Малинов и малиновцы» нравились многим; что касается до остального, в них заметно сильное влияние гейневских «Reisebilder»².

Зато «Малинов» чуть не навлек мне бед.

Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальной защиты, говоря, что лица чиновников в г. Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один из моих вятских знакомых спрашивал, какие у него доказательства на то, что малиновцы – *пашиквилль* на вятичей. Советник отвечал ему: «„Тысячи“; например, автор прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета, – ну разве не так?» Это дошло до директорши, та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он, слеп или из ума шутит? – говорила она. – Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня, действительно, было темное платье, но цвету *пансэ*». Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу. Раздосадованный советник бросил дело, а будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета да напиши советник, так в те прекрасные времена брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Лариных мог повредить Онегину.

Успех «Малинова» заставил меня приняться за «Кто виноват?»

Первую часть повести я привез из Новгорода в Москву. Она не понравилась московским друзьям, и я бросил ее. Несколько лет спустя мнение об ней изменилось, но я и не думал ни печатать, ни продолжать ее. Белинский взял у меня как-то потом рукопись, и со своей способностью увлекаться он, совсем напротив, переченил повесть в сто раз больше ее достоинства и писал ко мне: «Если бы я не ценил в тебе человека, так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления „Бригадира“, сказал бы тебе: „Умри, Герцен!“ Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал „Недоросля“. Я не хочу ошибаться и верю, что после „Кто виноват?“ ты напишешь такую вещь, которая

¹ Былое и думы. – Полярная звезда, III, с. 95–98. (Примеч. А. И. Герцена.)

² «Путевых картин» (нем.).

заставит всех сказать: „Он прав, давно бы ему приняться за повесть!“ Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур».

Цензура сделала разные урезывания и вырезывания, жаль, что у меня нет ее обрезков. Несколько выражений я вспомнил (они напечатаны курсивом) и даже целую страницу (и то, когда лист был отпечатан, и прибавил его к стр.). Это место мне особенно памятно потому, что Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили.

8 июня 1859 г.

Park-House, Fulham. И-р

Часть первая

I. Отставной генерал и учитель, определяющийся к месту

Дело шло к вечеру. Алексей Абрамович стоял на балконе; он еще не мог прийти в себя после двухчасового послеобеденного сна; глаза его лениво раскрывались, и он время от времени зевал. Вошел слуга с каким-то докладом; но Алексей Абрамович не считал нужным его заметить, а слуга не смел потревожить барина. Так прошло минуты две-три, по окончании которых Алексей Абрамович спросил:

– Что ты?

– Покаместь ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли из Москвы, которого доктор нанял.

– А? (что, собственно, тут следует: вопросительный знак (?) или восклицательный (!) – обстоятельства не решились).

– Я его провел в комнатку, где жил немец, что изволили отпустить.

– А!

– Он просил сказать, когда изволите проснуться.

– Позови его.

И лицо Алексея Абрамовича сделалось доблестнее и величественнее. Через несколько минут явился казачок и доложил:

– Учитель вошел-с.

Алексей Абрамович помолчал, потом, грозно взглянув на казачка, заметил:

– Что у тебя, у дурака, мука во рту, что ли? Мямлит, ничего не поймешь. – Впрочем, прибавил, не дожидаясь повторения: – Позови учителя, – и тотчас сел.

Молодой человек лет двадцати трех-четыре, жиденький, бледный, с белокурыми волосами и в довольно узком черном фраке, робко и смешавшись, явился на сцену.

– Здравствуйте, почтеннейший! – сказал генерал, благосклонно улыбаясь и не вставая с места. – Мой доктор очень хорошо отзывался об вас; я надеюсь, мы будем друг другом довольны. Эй, Васька! (При этом он свистнул.) Что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так и не надо. У-у! Когда вас оболванишь и сделаешь похожими на людей! Прошу покорно. У меня, почтеннейший, сын-с; мальчик добрый, со способностями, хочу его в военную школу приготовить. По-французски он у меня говорит, по-немецки не то чтоб говорил, а понимает. Немчура попался пьяный, не занимался им, да и, признаться, я больше его употреблял по хозяйству, – вот он жил в той комнате, что вам отвели; я прогнал его. Скажу вам откровенно, мне не нужно, чтоб из моего сына вышел магистер или философ; однако, почтеннейший, я хоть и слава богу, но две тысячи пятьсот рублей платить даром не стану. В наше время, сами знаете, и для военной службы требуют все эти грамматики, арифметики... Эй, Васька, позови Михайла Алексеича!

Молодой человек все это время молчал, краснел, перебирал носовой платок и собирался что-то сказать; у него шумело в ушах от прилива крови; он даже не вовсе отчетливо понимал слова генерала, но чувствовал, что вся его речь вместе делает ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой коже против шерсти. По окончании воззвания он сказал:

– Принимая на себя обязанность быть учителем вашего сына, я поступлю, как совесть и честь... разумеется, насколько силы мои... впрочем, я употреблю все старания, чтоб оправдать доверие ваше... вашего превосходительства...

Алексей Абрамович перебил его:

– Мое превосходительство, любезнейший, лишнего не потребует. Главное – уменье заохотить ученика, этак, шутя, понимаете? Ведь вы кончили ученье?

– Как же, я кандидат.

– Это какой-то новый чин?

– Ученая степень.

– А, позвольте, здравствуют ваши родители?

– Живы-с.

– Духовного звания?

– Отец мой уездный лекарь.

– А вы по медицинской части шли?

– По физико-математическому отделению.

– По-латынски знаете?

– Знаю-с.

– Это совершенно ненужный язык; для докторов, конечно, нельзя же при больном говорить, что завтра ноги протянет; а нам зачем? помилуйте...

Не знаем, долго ли бы продолжалась ученая беседа, если б ее не прервал Михайло Алексеевич, то есть Миша, тринадцатилетний мальчик, здоровый, краснощекий, упитанный и загоревший; он был в куртке, из которой умел в несколько месяцев вырасти, и имел вид общий всем дюжинным детям богатых помещиков, живущих в деревне.

– Вот твой новый учитель, – сказал отец.

Миша шаркнул ногой.

– Слушайся его, учись хорошенько; я не жалею денег – твое дело уметь пользоваться.

Учитель встал, учтиво поклонился Мише, взял его за руку и с кротким, добрым видом сказал ему, что он сделает все, что может, чтоб облегчить занятия и заохотить ученика.

– Он уже кой-чему учился, – заметил Алексей Абрамович, – у мадамы, живущей у нас; да поп учил его – он из семинаристов, наш сельский поп. Да вот, милый мой, пожалуйста, поэкзаменуйте его.

Учитель сконфузился, долго думал, что бы спросить, и наконец сказал:

– Скажите мне, какой предмет грамматики?

Миша посмотрел по сторонам, поковырял в носу и сказал:

– Российской грамматики?

– Все равно, вообще.

– Этому мы не учились.

– Что ж с тобой делал поп? – спросил грозно отец.

– Мы, папашенька, учили российскую грамматику до деепричастия и катехизец до таинств.

– Ну поди покажи классную комнату... Позвольте, как вас зовут?

– Дмитрием, – отвечал учитель, покраснев.

– А по батюшке?

– Яковлевым.

– А, Дмитрий Яковлич! Вы не хотите ли с дороги перекусить, выпить водки?

– Я ничего не пью, кроме воды.

«Притворяется!» – подумал Алексей Абрамович, чрезвычайно уставший после продолжительного ученого разговора, и отправился в диванную к жене. Глафира Львовна почивала на мягком турецком диване. Она была в блузе: это ее любимый костюм, потому что все другие теснят ее; пятнадцать лет истинно благополучного замужества пошли ей впрок: она сделалась *Adansonia baobab*³ между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспан-

³ Баобаб (лат.).

ную голову, долго не могла прийти в себя и, как будто отроду в первый раз уснула не вовремя, с удивлением воскликнула: «Ах, боже мой! Ведь я, кажется, уснула? представь себе!» Алексей Абрамович начал ей отдавать отчет о своих трудах на пользу воспитания Миши. Глафира Львовна была всем довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякий день перед чаем кушала квас.

Не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича; он сидел, молчаливый и взволнованный, в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе; он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения; они были для него окружены каким-то нимбом; видел он их или на бульваре, разряженными и неприступными, или на сцене московского театра, – там все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведут представлять к генеральше, да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши; он начинал об этом речь раза три, но не смел спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же? пойдемте-с!» – сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромнен и тих с посторонним. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги; руки у него охолодели и были влажны; он сделал гигантское усилие и вошел, близкий к обмороку, в диванную; в дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар.

– Глаша, – сказал Алексей Абрамович, – рекомендую тебе – новый ментор нашего Миши. Кандидат кланялся.

– Мне очень приятно, – сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. – Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике; мы, право, не знаем, как благодарить Семена Иваныча, что он доставил нам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемонии; не угодно ли вам сесть?

– Я все сидел, – пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил.

– Не стоя же ехать в кибитке! – сострил генерал.

Это замечание окончательно погубило кандидата; он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пущего несчастья; может быть, девицы тут в комнате, а если он их увидит, надобно будет поклониться, – как? Да и потом, вероятно, надобно было не садившись поклониться.

– Я тебе говорил, – сказал генерал вполслуха, – красная девка!

– *Le pauvre, il est a plaindre*⁴, – заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои.

Глафире Львовне с первого взгляда понравился молодой человек; на это было много причин: во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми глазами был интересен; во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных, – а она, как мы после узнаем, любила, по старой памяти, платонические мечтания; в-третьих, женщины в некоторых летах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрят на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию – чувство материнское, – что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, поласкать, отогреть; это кажется всего более им самим: мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем... Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; он сильно прихлебнул и обварил язык и небо, но скрыл боль с твердостью Муция Сцеволы. Это обстоятельство было благотворно для него: сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна; перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе.

⁴ Бедняжка, он достоин жалости (фр.).

Против нее – для того ли, чтоб пользоваться милым *vis-a-vis*⁵, или для того, чтоб не видать его за самоваром, – вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович; за креслами стояла девочка лет десяти с чрезвычайно глупым видом; она выглядывала из-за отца на учителя: ее-то трепетал храбрый кандидат! Миша находился также за столом; перед ним миска кислого молока и толстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем, высывалась голова легавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид: она неподвижно вперила два жиром заплывшие глаза на кандидата. У окна, на креслах, с чулком в руке, – миньютюрная старушка, с веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это француженка-мадам, У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку; возле него горничная, в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию питья чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видал, потому что оно было наклонено к пальцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не клеился, да и когда склеился, был как-то отрывчат, не нужен и утомителен для кандидата.

Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончания века не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося, каким-то диссонансом попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги, – попала, как птица в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного.

Но что это за люди такие – генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке, этот юноша, назначенный для выделки Мишиной головы настолько, чтоб мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу?

Я не умею писать повестей: может быть, именно потому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала –

⁵ Здесь: в смысле – сидящим напротив (*фр.*).

II. Биография их превосходительств

Алексей Абрамович Негров, отставной генерал-майор и кавалер, толстый, рослый мужчина, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен, мог служить лучшим и полнейшим опровержением на знаменитую книгу Гуфланда «О продолжении жизни человеческой». Он вел себя диаметрально противоположно каждой странице Гуфланда – и был постоянно здоров и румян. Одно правило гигиены он исполнял только: не расстроивал пищеварения умственными напряжениями и, может быть, этим стяжал право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жестокий на деле, нельзя сказать, что он был злой человек от природы; всматриваясь в резкие черты его лица, не совсем уничтожившиеся в мясных дополнениях, в густые черные брови и блестящие глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила в нем не одну возможность. Четырнадцати лет, воспитанный природой и французенкой, жившей у его сестры, Негров был записан в кавалерийский полк; получая много денег от нежной родительницы, он лихо проводил свою юность. После кампании 1812 года Негров был произведен в полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиром; военная служба начала ему надоедать, и он, послужив еще немного и «находя себя не способным продолжать службу по расстроенному здоровью», вышел в отставку и вынес с собою генерал-майорский чин, усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда, и мундир для важных okazji. Когда отставной генерал поселился в Москве, которая успела уже обстроиться после пожара, перед ним открылась бесконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятия, которым бы он умел или хотел заняться. Он ездил из дома в дом, поигрывал в карты, обедал в клубе, являлся в первом ряду кресел в театре, являлся на балах, завел себе две четверки прекрасных лошадей, холил их, учил денно и ночью словами и руками кучера, сам преподавал тайну конной езды фореитору... Так прошло года полтора; наконец кучер выучился сидеть на козлах и держать вожжи, фореитор выучился сидеть на лошади и держать поводья, скука одолела Негрова; он решился ехать в деревню хозяйничать и уверил себя, что эта поездка необходима для предупреждения важного расстройства. Теория его хозяйства была очень несложна: он бранил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были, с своей стороны, довольны барином; о крестьянах не знаю, они молчали. Месяца через два в окна господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками. В то же самое время староста, нисколько не занимавшийся устройством деревни, доложил енаралу, что у Емельки Барбаша изба плоха и что не соблаговолит ли Алексей Абрамович явить отеческую милость и дать ему леску. Лес был пункт помешательства Алексея Абрамовича; он себе на гроб не скоро бы решился срубить дерево; но... но тут он был в добром расположении духа и разрешил Барбашу нарубить леса на избу, прибавив старосте: «Да ты смотри у меня, рыжая бестия, за лишнее бревно – ребро». Староста сбегал на заднее крыльцо и доложил Авдотье Емельяновне о полном успехе, называя ее «матушкой и заступницей». Бедняжка краснела до ушей, но в простоте душевной была рада, что у отца ее будет новая изба. Мы находим в источниках наших мало сведений о завоевании голубых глазок, о встрече с ними. Я полагаю – потому, что эти победы делаются очень просто.

Как бы то ни было, сельская жизнь, в свою очередь, надоела Негрову; он уверил себя, что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву. Багаж его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенок ехали в особой бричке. В Москве их поместили в комнатку окнами на двор. Алексей Абрамович любил малютку, любил

Дуню, любил и кормилицу, – это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было беспрестанно тошно, – доктор сказал, что она не может больше кормить. Генерал жалел об ней: «Вот попалась редкая кормилица: и здоровая, и усердная, и такая услужливая, да молоко испортилось... досадно!» Он подарил ей двадцать рублей, отдал повойник и отпустил для излечения к мужу. Доктор советовал заменить кормилицу козой, – так было и сделано; коза была здорова. Алексей Абрамович ее очень любил, давал ей собственноручно черный хлеб, ласкал ее, но это не помешало ей выкормить ребенка. Образ жизни Алексея Абрамовича был такой же, как и в первый приезд; он его выдержал около двух лет, но далее не мог. Совершенное отсутствие всякой определенной деятельности невыносимо для человека. Животное полагает, что все его дело – жить, а человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. Хотя Негров с двенадцати часов утра и до двенадцати ночи не бывал дома, но все же скука мучила его; на этот раз ему и в деревню не хотелось; долго владела им хандра, и он чаще обыкновенного давал отеческие уроки своему камердинеру и реже бывал в комнате окнами на двор. Однажды, воротившись домой, он был в необыкновенном состоянии духа, чем-то занят, то морщил лоб, то улыбался, долго ходил по комнате и вдруг остановился с решительным видом. Заметно было, что дело внутри кончено. Кончив внутри, он свистнул, – свистнул так, что спавший в другой комнате на стуле казачок от испуга бросился в противоположную сторону от двери и насилу после сыскал. «Спишь все, щенок, – сказал ему генерал, но не тем громовым голосом, после которого сыпались отеческие молнии, а так, просто. – Поди скажи Мишке, чтоб завтра чем свет сходил к немцу-каретнику и привел бы его ко мне к восьми часам, да непременно привел бы». Видно было, что камень свалился с плеч Алексея Абрамовича, и он мог спокойно опочить. На другой день, в восемь часов утра, явился каретник-немец, а в десять окончилась конференция, в которой с большою отчетливостью и подробностью заказана была четверместная карета, кузов мордоре-фонсе⁶, гербы золотые, сукно пунцовое, басон кокликко, парадные козлы о трех чехлах.

Четверместная карета значила ни более ни менее как то, что Алексей Абрамович намерен жениться. Намерение это вскоре обнаружилось недвусмысленными признаками. После каретника он позвал своего камердинера. В длинной и довольно нескладной речи (что служит к большой чести Негрова, ибо в этой нескладности отразилось что-то вроде того, что у людей называется совестью) он изъявил ему свое благоволение за его службу и намерение наградить его примерным образом. Камердинер понять не мог, куда это идет, кланялся и говорил учтивости вроде: «Кому ж нам и угождать, как не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дети». Комедия эта надоела Негрову, и он в кратких, но выразительных словах объявил камердинеру, что он позволяет ему жениться на Дуньке. Камердинер был человек умный и сметливый, и хотя его очень поразила неожиданная милость господина, но в два мига он расчел все шансы pro и contra⁷ и попросил у него поцеловать ручку за милость и неоставление: нареченный жених понял, в чем дело; однако ж, думал он, не совсем же в немилость посылают Авдотью Емельяновну, коли за меня отдают: я человек близкий, да и баринов нрав знаю; да и жену иметь такую красивую недурно. Словом, жених был доволен. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невеста, поплакала, погрустила, но, имея в виду или ехать в деревню к отцу, или быть женою камердинера, решила на последнее. Она без содрогания не могла вздумать, как бывшие ее подруги будут над ней смеяться; она вспомнила, что и во времена ее силы и славы они ее называли вполслуха *полубарыней*. Через неделю их обвенчали. Когда, на другое утро, молодые пришли с конфетами на поклон, Негров был весел, подарил новобрачным сто рублей и сказал повару, случившемуся тут: «Учись, осел, люблю наказать, люблю и жаловать: служил хорошо, и ему хорошо». Повар отвечал: «Слушаю, ваше превосходительство», но на

⁶ темно-коричневого цвета с металлическим оттенком (от *фр.* mordore fonce).

⁷ за и против (*лат.*).

лице его было написано: «Ведь я же тебя надуваю при всякой покупке, а уж тебе меня не провести; дурака нашел!» Вечером камердинер давал пир, от которого вся дворня двое суток пахла водкой, и, точно, он расходов не пожалел. Была, впрочем, мучительно горькая минута для бедной Дуни: маленькую кроватку, а с нею и дочь ее велели перенести в людскую. Дуня безмерно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексея Абрамовича она боялась – остальные в доме боялись ее, хотя она никогда никому не сделала вреда; обреченная томному гаремному заключению, она всю потребность любви, все требования на жизнь сосредоточила в ребенке; неразвитая, подавленная душа ее была хороша; она, безответная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорблениями, не могла вынести одного – жестокого обращения Негрова с ребенком, когда тот чуть ему надоедал; она поднимала тогда голос, дрожащий не страхом, а гневом; она презирала в эти минуты Негрова, и Негров, как будто чувствуя свое унижительное положение, осыпал ее бранью и уходил, хлопнув дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колени перед иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись, – говорила она, – молись, мое сокровище, идем мы с тобою мыкать горе; Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малого, ни в чем не виноватого... А я-то, глупая, думала: вырастет она, моя сердечная, будет ездить в карете да ходить в шелковых платьях; из-за двери в щелочку посмотрела бы на тебя тогда; спряталась бы от тебя, мой ангел, – что тебе за мать крестьянка!.. А теперь вырастешь ты не на радость себе: сделают тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мылом обьест... Господи боже мой! Чем пред тобой согрешил младенец?..» И Дуня, рыдая, бросилась на пол; сердце ее раздиралось на части; испуганная малютка уцепилась за нее руками, плакала и смотрела на нее такими глазами, как будто все понимала... Через час кроватка была в людской, и Алексей Абрамович приказал камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? В Москве есть особая *varietas*⁸ рода человеческого; мы говорим о тех полубогатых дворянских домах, которых обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживают целыми поколениями по разным переулкам; однообразный порядок и какое-то затаенное озлобление против всего нового составляет главный характер обитателей этих домов, глубоко стоящих на дворе, с покривившимися колоннами и нечистыми сенями; они воображают себя представителями нашего национального быта, потому что им «квас нужен, как воздух», потому что они в санях ездят, как в карете, берут за собой двух лакеев и целый год живут на запасах, привозимых из Пензы и Симбирска. В одном из таких домов жила графиня Мавра Ильинишна. Некогда она кружилась в вихре аристократии, была кокетка, хороша собой, была при дворе, любезничала с Кантемиром, и он писал ей в альбом силлабическим размером мадригал, «сиречь виршную хвалебницу», в которой один стих оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмуемый стих – словами: «толь протерва». Но от природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихам, ожидая какой-то блестящей партии. Между тем отец ее умер, а брат, управлявший нераздельным имением, лет в десять пропил и проиграл почти все достояние. Столичная жизнь стала слишком дорога; надобно было жить скромнее. Когда графиня вполне поняла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лет, и она разом открыла две ужасные вещи: состояние расстроено, а молодость миновала. Тут она сделала несколько отчаянных попыток выйти замуж – они не удались; тогда, запрятав страшную злобу внутри своей груди, она переселилась в Москву, говоря, что ей шум большого света опротивел и что она ищет одного покоя. Сначала в Москве ее носили на руках, считали за особенную рекомендацию на светское значение ездить к графине; но мало-помалу желчный язык ее и нестерпимая надменность отучили от ее дома почти всех. Брошенная, оставленная всеми, старая дева еще более исполнилась негодованием и ненавистью, окружила себя разными приживающимися старухами, полунабожными и полубро-

⁸ разновидность (лат.).

дядими, собирала сплетни со всех концов города, ужасалась развратному веку и ставила себе в высокое достоинство свое бесконечное девство. Граф-братец, окончательно промотавший свое имение, для поправки состояния решился на геройский подвиг для того времени – женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекал ее происхождением, проиграл до копейки приданое, согнал ее со двора, опился и умер. Год спустя умерла и жена, оставив после себя пятилетнюю дочь без всякого состояния. Мавра Ильинишна взяла ее к себе на воспитание. Мудрено сказать, что побудило ее к этому: фамильная гордость, участие к ребенку или ненависть к брату, – как бы то ни было, жизнь маленькой девочки была некрасива, она была лишена всех радостей своего возраста, застрашена, запугана, притеснена. Эгоизм старух-девиц ужасен: он хочет выместить на всем окружающем пробелы, оставшиеся в их вымороженном сердце. Безотрадно и скучно подрастала маленькая графиня; по несчастию, она не принадлежала к тем натурам, которые развиваются от внешнего гнета; начав приходить в сознание, она нашла в себе два сильные чувства: непреодолимое желание внешних удовольствий и сильную ненависть к образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племяннице никакого рассеяния, но убивала претщательно все удовольствия и невинные наслаждения, которые она сама находила; она думала, что жизнь молодой девушки только для того и назначена, чтоб читать ей вслух, когда она спит, и ходить за нею остальное время; она хотела поглотить всю юность ее, высосать все свежие соки души ее – в благодарность за воспитание, которого она ей не давала, но которым упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сделалась невестой, и весьма невестой, – ей было уже двадцать три года. Она чувствовала вполне тягостную скуку и однообразие своего положения, и все существо ее вертелось около одной мысли – вырваться из ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксус, чтоб получить чахотку, но он не помогал ей; она хотела идти в монастырь, но в ней не было довольно решимости. Вскоре мысли ее приняли другой оборот. Старинные французские романы, которые она, не знаю как, отырла в теткинском гардеробе, пояснили ей, что есть, кроме смерти и монастыря, значительные утешения; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, с усами и кудрями. Тысячи романических картин мучили ее и день и ночь; она сочиняла себе целые повести: он ее увозит, их преследуют, «любить им не велят», раздаются выстрелы... «Ты моя навеки!» – говорит он, сжимая пистолет, и проч. На эту тему с бесчисленными вариациями сводились все мечты, все помыслы ее, все сновидения, и бедная с ужасом просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозит, никто не говорит: «ты моя навеки», – и тяжело подымалась ее грудь, и слезы лились на ее подушки, и она с каким-то отчаянием пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще с большим – шнуровалась потом, зная, что некому любоваться на ее стан. Такое состояние духа не могло быть вполне побеждено сывороткой, а вело прямо к сентиментальности и экзальтации. Графиня начала покровительствовать всех горничных и прижимать к сердцу засаленных детей кучера, – период, после которого девушке или тотчас надобно идти замуж, или начать нюхать табак, любить кошек и стриженных собачонок и не принадлежать ни к мужескому, ни к женскому полу. По счастью, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и в эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: *зовище* всего существа ее, ее томные глаза, ее неровно подымающаяся грудь победили Негрова. Он увидел ее раз у Старого Вознесенья – и судьба его жизни была решена. Генерал вспомнил корнетские годы, начал искать всевозможных случаев увидеть графиню, ждал часы целые на паперти и несколько конфузился, когда из допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню с видом вороны в чепчике и мешали выпрыгнуть молодой графине с видом центифольной розы. У генерала была в Москве двоюродная сестра... У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая и довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги, а она не имеет еще жениха. Генерал вверил свою тайну кухне, – та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как

с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала; кухня выгнала из ближней комнаты горничных, чтоб никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с покрасневшимся лицом выбежала от кухни и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в девять часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в одиннадцать часов и еще не приходила; наконец желанная гостя явилась, и с нею другая особа, в чепчике; словом, дело кипело с необычайною быстротою и с достоюльным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены; с окон сняли створы из равендука и велели вымыть, замки было велено вычистить кирпичом с квасом (суррогат уксуса); в передней, где ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми, Мавра Ильинишна была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею и сама осматривала ее с ног до головы.

– Да для чего это, татап, вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?

– Не твое дело, душечка, – отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам; она догадывалась, подозревала, не смела верить, не смела не верить... она должна была выйти на воздух, чтоб не задохнуться. В сенях горничные донесли ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее... Вдруг въехала карета.

– Палашка, я умру, я умираю! – говорила молодая графиня.

– И, полноте, ваше сиятельство, кто ж умирает, когда сватаются, да еще такие женихи...

Я вот всегда говорила: нашей графине быть за генералом, – извольте всех спросить.

Чье перо в состоянии описать все, что перечувствовала бедная девушка во время *показа и смотра!*.. Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило ее, – это фрак Алексея Абрамовича: она так твердо верила в его мундир и эполеты... Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться; хотя ему было под сорок, но, благодаря доброму здоровью, он сохранил себя удивительно, и, от природы не слишком речистый, он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии; остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после смотра графиню Мавру Ильинишну явились поздравлять ее знакомые, – люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет тридцать упорно сражались со смертью и не сдались, где они лет тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше вас; я и не думала свою Коко так рано отдавать замуж; дитя еще; ну да, батюшка, божья воля! Человек он солидный и честный, отцом может служить ей: она так неопытна. А генеральство его и богатство – не важная вещь: и через золото слезы текут. Да и нечего сказать, я вкусила плод благочестивого воспитания моего (при этом она прикладывала к глазам платок); истинно, что делает воспитание! Можно ли было ждать от такого отца развращенного – царство ему небесное – и от купчихи такого детища? Не поверите: ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против: если вам, татап, угодно, говорит, так я, говорит, охотно пойду, говорит...» – «Это истинно редкая девица в наш развращенный век!» – отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потом начинались сплетни и бессовестное чернение чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цуг вороных лошадей привез в четвероместной карете мордоре-фонсе генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую; вся дворня стояла в сенях, добываясь увидеть молодых, камердинерова

жена в том числе; ее муж, как высший сановник передней, распоряжался в кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ее, и сам генерал ее, – и молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе: так или иначе, мечты ее сбылись.

Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус, в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай; супруг ее, в позолоченном халате из тармаламы и с огромным янтарем в зубах, лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к Святой: желтую или синюю, хорошо бы желтую, однако и синюю недурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайник и *мечтательно* склонила голову на руку; иногда румянец пробежал по ее щекам, иногда она показывала явное беспокойство. Наконец муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал:

– Ты что-то не в духе, Глашенька; нездоровится, что ли, тебе?

– Нет, я здорова, – отвечала она и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи.

– Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме.

Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы:

– Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексис начал удивляться.

– Посмотрим, посмотрим, – отвечал он.

– Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу могилой твоей матери.

Он вынул чубук изо рта и посмотрел на нее с изумлением.

– Глашенька, я не люблю таких дальних обходов; я солдат: что могу – сделаю, только скажи мне просто.

Она спрятала лицо на его груди и пропищала в слезах:

– Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви... я понимаю неопытность, пылкость юности (Любоньке было три года!). Алексис, она твоя, я ее видела: у ней твой нос, твой затылок... О, я ее люблю! Пусть она будет моей дочерью, позволь мне взять ее, воспитать... и дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала. Друг мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы! – И слезы текли обильным ручьем по тармаламе халата.

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и прежде нежели успел прийти в себя, жена вынудила его дать позволение и поклясться могилой матери, прахом отца, счастьем их будущих детей, именем их любви, что не возьмет назад позволения и не будет доискиваться, как она узнала. Разжалованная в дворовые, малютка снова была произведена в барышни, и кровать опять переехала в бельэтаж. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцом, начали отучать теперь звать мать – матерью, хотели ее вырастить в мысли, что Дуня – ее кормилица. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком Мосту детское платье, разодела Любоньку, как куклу, потом прижала ее к сердцу и заплакала. «Сиротка, – говорила она ей, – у тебя нет папаши, нет мамы, я тебе буду все... Папаша твой там!» – и она указала на небо. «Папа с крылышками», – пролепетал ребенок, – и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «О, небесная простота!» А дело было очень просто: на потолке, по давно прошедшей моде, был представлен амур, дрягавший ногами и крыльями и завязывавший какой-то бант у черного железного крюка, на котором висела люстра. – Дуня была на вершине счастья; она на Глафиру Львовну смотрела как на ангела; ее благодарность была без малейшей примеси какого бы то ни было неприязненного чувства; она даже не обижалась тем, что дочь отучали быть дочерью; она видела ее в кружевах, она видела ее в барских покоях – и только говорила: «Да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая, – кажись, ей и

нельзя надеть другого платья; красавица будет!» Дуня обходила все монастыри и везде служила заздравные молебны о доброй барыне.

Многие сочтут экс-графиню героиней. Я полагаю, что ее поступок сам в себе был величайшею необдуманностью, – по крайней мере, равную необдуманности выйти замуж за человека, о котором она только и знала, что он мужчина и генерал. Причина – очевидно, романтическая экзальтация, предпочитающая всему на свете трагические сцены, самопожертвования, натянуто благородные поступки. Справедливость требует присовокупить, что Глафира Львовна не имела при этом никакой хитрой мысли, ни даже тщеславия; она сама не знала, для чего она хотела воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дела. Алексей Абрамович, позволив однажды, нашел очень естественным странное положение ребенка и не дал даже себе труда подумать, хорошо или худо он сделал, согласившись на это... В самом деле, хорошо или худо он сделал? Можно многое сказать и «за», и «против». Кто считает высшей целью жизни человеческой развитие, во что бы оно ни стало, какие бы оно последствия ни привело, – тот будет со стороны Глафиры Львовны. Кто считает высшей целью жизни счастье, довольство, в каком бы кругу оно ни было и насчет чего бы оно ни досталось, – тот будет против нее. Любонька в людской, если б и узнала со временем о своем рождении, понятия ее были бы так тесны, душа спала бы таким непробудимым сном, что из этого ничего бы не вышло; вероятно, Алексей Абрамович, чтобы вполне примириться с совестью, дал бы ей отпускную и, может быть, тысячу-другую приданого; она была бы при своих понятиях чрезвычайно счастлива, вышла бы замуж за купца третьей гильдии, носила бы шелковый платок на макушке, пила бы по двенадцати чашек цветочного чая и народила бы целую семью купчиков; иногда приходила бы она в гости к дворечихе Негрова и видела бы с удовольствием, как на нее с завистью смотрят ее бывшие подруги. Так она могла бы прожить до ста лет и надеяться, что сто извозчицких дрожек проводят ее на Ваганьковское кладбище. Любонька в гостинной – совсем иное дело: как бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль от грубых понятий людской – своего рода воспитание. С тем вместе она должна была понять всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы дальнейшему развитию духа, а может быть, с тем вместе, развитию чахотки. Итак, выбирайте сами, хорошо или худо сделала m-me Негрова.

Брачная жизнь Алексея Абрамовича потекла как по маслу; на всех каретных гуляньях являлась его четверня и блестящий экипаж и пышущая счастьем чета в этом экипаже. Их, наверное, можно было встретить и в Сокольниках 1 мая, и в Дворцовом саду в Вознесенье, и на Пресненских прудах в Духов день, и на Тверском бульваре почти всякий день. Зимой ездили они в собрание, давали обеды, имели абонированную ложу. Но страшное однообразие убивает московские гулянья: как было в прошлом году, так в нынешнем и в будущем; как тогда с вами встретился толстый купец в великолепном кафтане с чернозубой женой, увешанной всякими драгоценными камнями, так и нынче непременно встретится – только кафтан постарше, борода побелее, зубы у жены почернее, – а все встретится; как тогда встретился хват с убийственными усами и в шутовском сюртуке, так и нынче встретится, несколько исхудалый; как тогда водили на гулянье подагрика, покрытого нюхательным табаком, так и нынче его поведут... От одного этого можно запереться у себя в комнате. Алексей Абрамович был человек выносливый, однако силы человеческие сочтены: дольше десяти лет он не мог протянуть, надоело и ему, и Глаше. В это десятилетие у них родились сын и дочь, и они начали тяжелеть не по дням, а по часам; одеваться не хотелось им больше, и они начали делаться домоседами, и не знаю, как и для чего, а полагаю – больше для всесовершеннейшего покоя решили ехать на житье в деревню. Это случилось года четыре прежде ученого разговора генерала с Дмитрием Яковлевичем.

III. Биография Дмитрия Яковлевича

Разумеется, биография бедного молодого человека не может иметь той занимательности, как биография Алексея Абрамовича с домочадцами. Мы должны из мира карет мордоре-фонсе перейти в мир, где заботятся о завтрашней обеде, из Москвы переехать в дальний губернский город, да и в нем не останавливаться на единственной мощеной улице, по которой иногда можно ездить и на которой живет аристократия, а удалиться в один из небогатых переулков, по которым почти никогда нельзя ни ходить, ни ездить, и там отыскать почерневший, перекосившийся домик с тремя окнами – домик уездного лекаря Круциферского, скромно стоящий между почерневшими и перекосившимися своими товарищами. Все эти домики скоро развалятся, заместятся новыми, и никто об них не помянет; а между тем во всех них развивалась жизнь, кипели страсти, поколения сменялись поколениями, и обо всех этих существованиях столько же известно, сколько о диких в Австралии, как будто они человечеством оставлены вне закона и не признаны им. Но вот домик, который мы искали. В нем лет тридцать жил добрый, честный старик с своей женой. Жизнь его была постоянно битвою со всевозможными нуждами и лишениями; правда, он вышел довольно победоносно, то есть не умер с голода, не застрелился с отчаяния, но победа досталась не даром; в пятьдесят лет он был и сед, и худ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатым запасом сил и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты истощили это тело и придали ему вид преждевременной дряхлости, а непрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба с нуждой, дума о завтрашнем дне, жизнь, проведенная в недостатках и заботах. В этих низменных сферах общественной жизни душа вянет, сохнет в вечном беспокойстве, забывает о том, что у нее есть крылья, и, вечно наклоненная к земле, не подымает взора к солнцу. Жизнь лекаря Круциферского была огромным продолжительным героическим подвигом на неосвященном поприще, награда – насущный хлеб в настоящем и надежда не иметь его в будущем. Он учился на казенный счет в Московском университете и, выпущенный лекарем, прежде назначения женился на немке, дочери какого-то провизора; приданое ее, сверх доброй и самоотверженной души, сверх любви, которую она, по немецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло из нескольких платьев, пропитанных запахом розового масла с ребарбаром. Страстно влюбленному студенту в голову не приходило, что он не имеет права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этих прав есть свой ценз, вроде французского электорального ценза. Через несколько дней после свадьбы его назначили полковым лекарем в действующую армию. Восемь лет кочевой⁹ жизни вынес он; на девятый устал и начал просить постоянного места, – ему дали одну из открывшихся вакансий. И Круциферский потащился с женой и детьми с одного края России в другой и поселился в губернском городе NN. Сначала он имел кой-какую практику. Хотя сановники и помещики в губернских городах предпочитают лечиться у немцев, но, по частию, немца (кроме часовщика) под рукой не находилось. Это был счастливейший период жизни Круциферского; тогда он купил свой домик с тремя окнами, а Маргарита Карловна сюрпризом мужу, ко дню Иакова, брата господня, ночью обила старый диван и креслы ситцем, купленным на деньги, собранные по копейке. Ситец был превосходный; на диване Авраам три раза изгонял Агарь с Измаилом на пол, а Сарра грозилась; на креслах с правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сарры, а с левой – их головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Один богатый помещик, село которого было под самым городом, привез с собою домашнего доктора, отбившего всю практику у Круциферского. Молодой доктор был мастер лечить женские болезни; пациентки были от него без ума; лечил он от всего пиявками и красноречиво доказывал, что не только все болезни – воспаление, но и жизнь есть не что иное, как воспаление

⁹ кочевой (от *греч.* *nomas* – кочевники).

материи; о Круциферском он отзывался с убийственным снисхождением; словом, он вошел в моду. Весь город шил ему по канве подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старом лекаре старались забыть. Правда, купцы и духовные остались верными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрению терлись и мазались в бане всякой дрянью – скапидаром, дегтем, муравьиным спиртом – и всегда выздоравливали – или умирали через несколько дней. В обоих случаях Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счет, и молодой доктор всякий раз говорил дамам: «Странная вещь, ведь Яков Иванович очень хорошо знает свое дело, а как не догадался употребить *t-rae opii Sydenhamii* капель X, *solutum in aqua distil lata*¹⁰ да не поставил под ложечку сорок пять пиявок; ведь человек-то бы был жив». Слыша латинские слова, сама губернаторша верила, что человек бы был жив. И так, мало-помалу, Круциферский был сведен на одно жалованье: оно состояло, кажется, из четырехсот рублей; у него было пять человек детей; жизнь становилась тяжелее и тяжелее. Яков Иванович не знал, как прокормиться; скарлатина указала ему выход: трое из детей умерли друг за другом, остались старшая дочь и меньшой сын. Мальчик, кажется, избегнул смерти и болезни своею чрезвычайною слабостью: он родился преждевременно и был не более, как жив; слабый, худой, хилый и нервный, он иногда бывал не болен, но никогда не был здоров. Несчастья этого ребенка начались прежде его рождения. В то время как Маргарита Карловна была тяжела им, над ними готово было разразиться ужасное несчастье. Губернатор возненавидел Круциферского за то, что он не дал свидетельства о естественной смерти засеченному кучеру одного помещика¹¹. Яков Иванович был на вершок от гибели и с какой-то кроткой, геройской грустью, молча и самоотверженно ждал страшного удара, – удар прошел мимо головы его. В это тревожное время непрерывных слез родился Митя, единственный наказанный в деле о найденном теле кучера. Дитя это было идолом Маргариты Карловны; чем болезненнее, чем слабее оно казалось, тем упорнее хотела мать сохранить его; она, кажется, делилась с ним своей силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что он останется у них один, – опора, надежда, утешение. А что же случилось с его сестрой? Ей было лет семнадцать, когда в NN стоял пехотный полк; когда он ушел, ушла и лекарская дочь с каким-то подпоручиком; через год писала она из Киева, просила прощенья и благословения и извещала, что подпоручик женился на ней; через год еще писала она из Кишинева, что муж ее оставил, что она с ребенком в крайности. Отец послал ей двадцать пять рублей. После этого не было об ней и вести. Когда Митя подрос, его отдали в гимназию; он учился хорошо; вечно застенчивый, кроткий и тихий, он был даже любим инспектором, который считал не вовсе сообразным с своей должностью любить детей. Отец хотел после курса записать его в канцелярию гражданского губернатора, в чем ему обещал протезировать секретарь, у которого он лечил безвозмездно детей, вечно золотушных. Вдруг Мите открылась другая дорога. Какой-то меценат и тайный советник проезжал по городу NN, отправляясь из деревни в Москву¹². Директор гимназии, имевший талант узнавать явно приближение тайных советников, тотчас отправился просить удостоительной чести посещения вертограда и рассадника отечественного просвещения. Меценату не хотелось, но он любил радушные приемы и с тем вместе почтительные. Директор, в мундире и поддерживая шляпой шапку, объяснил меценату подробно, отчего сени сыры и лестница покривилась (хотя меценату до этого дела не было); ученики были развернуты правильной колонной; учителя, сильна причесанные и с крепко повязанными галстухами, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикам и сторожу, всего менее потерявшемуся. Учитель физики просил позво-

¹⁰ Сиденгэмовой настойки опия капель 10, разведенных в дистиллированной воде (лат.).

¹¹ Эти строки были выпущены ценсурой. (Примеч. А. И. Герцена.)

¹² Эти строки «т. е. от слов «Директор гимназии» и кончая словами «меценат обратил»» были выпущены ценсурой. (Примеч. А. И. Герцена.)

ления его превосходительства убить кролика под колпаком пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем директор, тронутый, посмотрел на всех учителей и на всех учеников, как бы говоря: «Величие всегда сопровождается кротостью». Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда неутомимый учитель все-таки, к большому удовольствию всего города, принес их на жертву науке и образованию. Затем один из учеников вышел вперед, и учитель французского языка спросил его: «Не имеет ли он или что-нибудь сказать по поводу высокого посещения рассадника наук?» Ученик тотчас же начал на каком-то франко-церковном наречии: «Коман пувонн ну поверь анфан ремерсиерь лилюстрь визитерь»¹³.

Глядя по сторонам во время этой кельто-славянской речи, меценат обратил как-то внимание на болезненный и нежный вид Мити, подозвал его к себе, поговорил, приласкал. Директор сказал, что это отличнейший ученик, что он пошел бы далеко, но что отец его не имеет чем содержать его в Москве и проч. Меценат был меценат и сказал Мите, что через месяц или два поедет его управитель, что если его родители согласны, то он ему прикажет привезти Митю в Москву и велит дать ему уголок в своем флигеле вместе с детьми управляющего. Директор послал тотчас письмоводителя за Яковом Ивановичем. Яков Иванович застал мецената, уже садящегося в дормез. Старик был истинно тронут, плакал, как дитя, и простым языком, нескладным и прерывистым, благодарил его. Меценат указал на плечистого мужчину, помогавшего застегивать какие-то ремешки у кареты, и сказал: «Это мой управляющий, он повезет вашего сына», – сказал и уехал, милостиво улыбнувшись. Через месяц кибитка с бубенчиками выехала из ворот Круциферского, и в ней сидел Митя, покрытый одеялом, увязанный и одетый матерью, и приказчик – в одном сюртуке, потому что он в пути предпочитал нагреваться изнутри. И вот от чего зависит судьба человека! Если б меценат не проезжал через город NN, Митя поступил бы в канцелярию, и рассказа нашего не было бы, а был бы Митя со временем старший помощник правителя дел и кормил бы он своих стариков бог знает какими доходами, – и отдохнули бы Яков Иванович и Маргарита Карловна. Отъезд Мити был переломом жизни стариков: они остались одни; тишина, грусть еще более овладели их домиком. Управляющий мецената, человек не слабонервный, почувствовал что-то вроде слез, когда старики расставались с сыном. Бедный отец прощается не так, как богатый; он говорил сыну: «Иди, друг мой, ищи себе хлеба; я более для тебя ничего не могу сделать; пролагай свою дорогу и вспоминай нас!» И увидятся ли они, найдет ли он себе хлеб – все покрыто черной, тяжелой завесой... Хочет отец дать сыну на дорогу побольше, и нет возможности; он десять раз рассчитывает, сколько можно уделить из наличных восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слез прольет над убогим узелком, в который она положила необходимейшие свои вещи, но понимает, что всего недостает, и знает, что негде взять... Это сцены, никому не известные, мещанские, скрываемые тщательно от постороннего глаза, но вопиющие и раздирающие сердце! Хорошо, что они скрыты!

Молодой Круциферский через четыре года сделался кандидатом. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображения, он любовью к науке, постоянным прилежанием вполне заслужил полученную им степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что из него разовьется одно из милых германских существований, – существований тихих, благородных, счастливых в немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой ученопедагогической деятельности, в немножко ограниченном семейном кругу, в котором через двадцать лет муж еще влюблен в жену, а жена еще краснеет от каждой двусмысленной шутки; это существования маленьких патриархальных городков в Германии, пасторских домиков, семинарских учителей, чистые, нравственные и незаметные вне своего

¹³ Как нам, бедным детям, отблагодарить знаменитого посетителя (от фр. comment pouvons-nous pauvres enfants remercier l'illustre visiteur).

круга... Но будто у нас возможна такая жизнь? Я решительно думаю, что нет; нашей душе не свойственна эта среда; она не может утолять жажду таким жиденьким винцом: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, – но в обоих случаях шире. Сделавшись кандидатом, Круциферский сначала попытался получить место при университете; потом думал пробиться частными уроками, – но все попытки были напрасны: он унаследовал от отца удачу во всех предприятиях...

Через несколько месяцев после того, как при звуках литавр и труб было возвещено о кандидатстве Круциферского, он получил письмо от старика, извещавшее его о болезни матери и мимоходом намекавшее на тесные обстоятельства. Зная характер отца, он понял, что одна страшная крайность заставила его сделать такой намек. Последние деньги были прожиты Круциферским, одно средство оставалось: у него был патрон, профессор какой-то гнозии, принимавший в нем сердечное участие; он написал к нему письмо открыто, благородно, трогательно и просил займы сто пятьдесят рублей. Профессор отвечал учтивейшим образом, тронулся запиской, но денег не прислал; в *postscriptum*¹⁴ ученый муж упрекал самым милым образом Круциферского, что он не приходит никогда к нему обедать. Записка поразила молодого человека, – так мало знал он цену людям или, лучше сказать, деньгам! Ему было очень тяжело; он бросил милую записку доброго профессора на стол, прошелся раза два по комнатке и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать; слезы потихоньку скатывались со щек его; ему так живо представлялась убогая комната и в ней его мать, страждущая, слабая, может быть, умирающая, – возле старик, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется, – но она скрывает, чтоб не увеличить горести мужа, а тот догадывается и тоже скрывает, боясь, что придется отказать ей... Читатель, если вы богаты или, по крайней мере, обеспечены, – принесите глубокую благодарность небу, и да здравствует полученное нами наследство! да здравствует родовое и благоприобретенное!

В эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явным образом не столичная, вошла, снимая темный картуз с огромным козырьком. Козырек этот бросал тень на здоровое, краснощекое и веселое лицо человека пожилых лет; черты его выражали эпикурейское спокойствие и добродушие. Он был в поношенном коричневом сюртуке с воротником, какого именно тогда не носили, с бамбуковой палкой в руках и, как мы сказали, с видом решительного провинциала.

– Вы господин Круциферский, кандидат здешнего университета?

– Я, – отвечал Дмитрий Яковлевич, – к вашим услугам.

– А вот, господин кандидат, позвольте мне сперва сесть; я постарше вас, да и пришел пешком.

С этими словами он хотел было сесть на стул, на котором висел вицмундирный фрак; но оказалось, что этот стул может только выносить тяжесть фрака без человека, а не человека в сюртуке. Круциферский, сконфузившись, просил его поместиться на кровать, а сам взял другой (и последний) стул.

– Я, – начал посетитель с убийственной медленностью, – инспектор врачебной управы NN, доктор медицины Крупов, и пришел к вам вот по какому делу...

Инспектор был человек методический, остановился, вынул большую табакерку, положил ее возле себя, потом вынул красный платок и положил его возле табакерки, потом белый платок, которым обтер себе пот, и, нюхая табак, продолжал таким образом:

– Вчерашнего числа я был у Антона Фердинандовича... мы с ним одного выпуска... нет, извините, он вышел годом ранее... да, годом ранее, точно, – все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вот-с я и прошу его, не может ли он мне указать хорошего учителя в отъезд-де, в нашу губернию, кондиции, мол, такие и такие, и вот, мол, требуют то и то. Антон-

¹⁴ приписке (лат.).

ат Фердинандович и дал мне ваш адрес и, признаюсь, очень лестно отзывался об вас; а потому, если вы желаете иметь кондицию в отъезд, то я мог бы с вами дело покончить.

Антон Фердинандович был именно профессор-патрон: он в самом деле любил Круциферского, но только не рисковал своими деньгами, как мы видели, – а рекомендацию всегда был готов дать.

Тяжелый доктор Крупов показался Круциферскому небесным посланником; он откровенно рассказал ему свое положение и заключил тем, что ему выбора нет, что он обязан принять место. Крупов вытащил из кармана что-то среднее между бумажником и чемоданом и вынул письмо, покоившееся в обществе кривых ножниц, ланцетов и зондов, и прочел: «Предложите таковому 2000 рублей в год и никак не более 2500, потому что за 3000 рублей у моего соседа живет француз из Швейцарии. Особая комната, утром чай, прислуга и мытье белья, как обыкновенно. Обедать за столом».

Круциферский не делал никаких требований, краснея говорил о деньгах, расспрашивал о занятиях и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить в посторонний дом, жить у чужих людей. Крупов был тронут, уговаривал его не бояться Негровых... «Ведь вам с ними не детей крестить; будете учить мальчика, а с отцом, с матерью видаться за обедом. Генерал денежно вас не обидит, за это я вам отвечаю; жена его вечно спит, – стало, и она вас не обидит, разве во сне. Дом Негрова, поверьте мне, не хуже... признаться, и не лучше всех помещичьих домов». Словом, торг сладился: Круциферский шел внаем за 2500 рублей в год. Инспектор был обленившийся в провинциальной жизни человек, но, однако, человек. Узнав рядом горьких опытов, что все прекрасные мечты, великие слова остаются до поры до времени мечтами и словами, он поселился на веки веков в NN и мало-помалу научился говорить с расстановкой, носить два платка в кармане, один красный, другой белый. Ничто в мире не портит так человека, как жизнь в провинции. Но он не совсем еще вымер: в глазах его еще попрыгивали огоньки. Многие встрепенулось в душе Крупова при виде благородного, чистого юноши; ему вспомнилось то время, когда он с Антоном Фердинандовичем мечтал сделать переворот в медицине, идти пешком в Геттинген... и он горько улыбнулся при этих воспоминаниях. Когда торг кончился, ему пришло в голову: «Хорошо ли я делаю, вталкивая этого юношу в глупую жизнь полустепного помещика?» Даже мысль дать ему своих денег и уговорить его не покидать Москвы пришла ему в голову; лет пятнадцать тому назад он так бы и сделал, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелек. «Судьба!» – подумал Крупов и утешился. Странно, что в этом случае он поступил точь-в-точь, как с древнейших времен поступает человечество: Наполеон говаривал, что судьба – слово, не имеющее смысла, – оттого-то оно так и утешительно.

– Итак, мы дело сладили, – сказал наконец инспектор после маленького молчания, – я еду через пять дней и буду очень рад, если вы разделите со мною тарантас.

IV. Житье-бытье

Давно известно, что человек везде может оклиматиться, в Лапландии и Сенегалии. Потому дивиться, собственно, нечему, что Круциферский мало-помалу начал привыкать к дому Негрова. Образ жизни, суждения, интересы этих людей сначала поражали его, потом он стал равнодушнее, хотя и был далек от примирения с такою жизнью. Странное дело: в доме Негрова ничего не было ни разительного, ни особенного; но свежему человеку, юноше, как-то неловко, трудно было дышать в нем. Пустота всесовершеннейшая, самая многосторонняя царила в почтенном семействе Алексея Абрамовича. Зачем эти люди вставали с постелей, зачем двигались, для чего жили – трудно было бы отвечать на эти вопросы. Впрочем, и нет нужды на них отвечать. Добрые люди эти жили потому, что родились, и продолжали жить по чувству самосохранения; какие тут цели да задние мысли... Это все из немецкой философии! Генерал вставал в семь часов утра и тотчас появлялся в залу с толстым черешневым чубуком; вошедший незнакомец мог бы подумать, что проекты, соображения первой важности бродят у него в голове: так глубокомысленно курил он; но бродил один дым, и то не в голове, а около головы. Глубокомысленное курение продолжалось час. Алексей Абрамович все это время тихо ходил по зале, часто останавливаясь перед окном, в которое он превнимательно всматривался, щурил глаза, морщил лоб, делал недовольную мину, даже кричал, но и это был такой же оптический обман, как задумчивость. Управитель должен был в это время стоять у дверей, рядом с казачком. Окончив куренье, Алексей Абрамович обращался к управителю, брал у него из рук рапортчку и начинал его ругать не на живот, а на смерть, присовокупляя всякий раз, что «кончено, что он его знает, что он умеет учить мошенников и для примера справедливости отдаст его сына в солдаты, а его заставит ходить за птицами!» Была ли это мера нравственной гигиены вроде ежедневных обливаний холодной водой, мера, посредством которой он поддерживал страх и повиновение своих вассалов, или просто патриархальная привычка – в обоих случаях постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушал отеческие наставления с безмолвным самоотвержением: слушать их казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной с его должностью, как красть пшеницу и ячмень, сено и солому. «Ах ты разбойник! – кричал генерал. – Да тебя мало трех раз повесить!» – «Воля вашего превосходительства», – отвечал с величайшим спокойствием управитель и смотрел своими плутовскими глазами как-то косвенно вниз. Беседа эта продолжалась «до появления детей здороваться; Алексей Абрамович протягивал им руку; с ними являлась миньютюрная *французженка*-мадам, которая как-то уничтожалась, уходя сама в себя, приседая а la Pompadour; она извещала, что чай готов, и Алексей Абрамович отправлялся в диванную, где Глафира Львовна уже дожидалась его перед самоваром. Разговор обыкновенно начинался жалобой Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу; она чувствовала в правом виске непонятную, живую боль, которая переходила в затылок и в темя и не давала ей спать. Алексей Абрамович слушал бюллетень о здоровье супруги довольно равнодушно, потому ли, что он один во всем роде человеческом очень хорошо и основательно знал, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видел, как эта хроническая болезнь полезна здоровью Глафиры Львовны, – не знаю. Зато Элиза Августовна приходила в ужас, жалела о страданице и утешала ее тем, что и княгиня Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если б хотела, точно так же страдают живою болью и называют ее *tic douloureux*¹⁵. Во время чая приходил повар; благородная чета начинала заниматься заказом обеда и бранить за вчерашний, хотя блюда и были вынесены пусты. Повар имел то преимущество перед приказчиком, что его ежедневно бранил барин, как и приказчика, да, сверх

¹⁵ нервный тик (*фр.*)

того, бранила барыня. После чая Алексей Абрамович отправлялся по полям; несколько лет жив безвыездно в деревне, он не много успел в агрономии, нападал на мелкие беспорядки, пуще всего любил дисциплину и вид безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти перед глазами, и он большей частью не замечал, а когда замечал, то так неловко принимался за дело, что всякий раз оставался в дураках. Как настоящий глава и отец общины, он часто говаривал: „Вору спущу, мошеннику спущу, но уж дерзости не могу стерпеть“, – в этом у него состоял патриархальный *point d'honneur*¹⁶! Глафира Львовна, кроме чрезвычайных случаев, никогда не выходила из дома пешком, разумеется, исключая старого сада, который от запущенности сделался хорошим и который начинался от самого балкона; даже собирать грибы ездила она всегда в коляске. Это делалось следующим образом. С вечера отдавался приказ старосте, чтоб собрать легион мальчишек и девчонок с кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна с француженкой ехала шагом по просеке, а саранча босых, полуголых и полусытых детей, под предводительством старухи птичницы, барчонка и барышни, нападала на масленки, волвянки, сыроежки, рыжики, белые и всякие грибы. Гриб удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей к матушке-енеральше; им изволили любоваться и ехали далее. Возвратившись домой, она всякий раз жаловалась на усталь и ложилась уснуть перед обедом, употребив для восстановления сил какой-нибудь остаток вчерашнего ужина – барашка, телянка, поенного одним молоком, индейку, кормленную грецкими орехами, или что-нибудь в этом роде, легкое и приятное. Между тем уж и Алексей Абрамович хватил горькой, закусил, *повторил* и отправился прогуляться в саду; он особенно в это время любил пройтись по саду и заняться оранжереей, расспрашивая обо всем садовникову жену, которая во всю жизнь не умела отличить груш от яблок, что не мешало ей иметь довольно приятную наружность. В это время, то есть часа за полтора до обеда, француженка занималась образованием детей. Что она им преподавала, как – это покрывалось непроницаемой тайной. Отец и мать были довольны: кто же имеет право мешаться в семейные дела после этого? В два часа подавался обед. Каждое блюдо было достаточно, чтоб убить человека, привыкшего к европейской пище. Жир, жир и жир, едва смягчаемый капустой, луком и солеными грибами, перерабатывался, при помощи достаточного количества мадеры и портвейна, в упругое тело Алексея Абрамовича, в расплывшееся – Глафиры Львовны и в сморщившееся тельце, едва покрывавшее косточки Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала от Алексея Абрамовича в употреблении мадеры (и заметим притом шаг вперед XIX века: в XVIII веке нанимавшейся мадаме не было бы предоставлено право пить вино за столом); она уверяла, что в ее родине (в Лозанне) у них был виноградник и она дома всегда вместо кваса пила мадеру из своих лоз и тогда еще привыкла к ней. После обеда генерал ложился на полчаса уснуть на кушетке в кабинете и спал гораздо долее, а Глафира Львовна отправлялась с мадамой в диванную. Мадам говорила беспрерывно, и Глафира Львовна засыпала под ее бесконечные рассказы. Иногда, для разнообразия, Глафира Львовна посылала за женой сельского священника; та являлась, – какое-то дикое несвязное существо, вечно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна целые часы проводила с ней и потом говорила мадаме: „Ah, comme elle est bete, insupportable!“¹⁷. И в самом деле, попадья была непроходимо глупа. Потом чай, потом ужин около десяти часов, после ужина семья начинала зевать всеми ртами. Глафира Львовна замечала, что в деревне надобно жить по-деревенски, то есть раньше ложиться спать, – и семья расходилась. В одиннадцать часов дом храпел от конюшни до чердака. Изредка наезжал какой-нибудь сосед – Негров под другой фамилией – или старуха тетка, проживавшая в губернском городе и поврежденная на желании отдать дочерей замуж; тогда на миг порядок жизни изменялся; но гости уезжали – и все шло по-прежнему. Разумеется, что за всеми этими занятиями

¹⁶ вопрос чести (*фр.*)

¹⁷ Ах, до чего она глупа, невыносимо! (*фр.*)

все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда деть, особенно в ненастную осень, в долгие зимние вечера. Весь талант француженки был употребляем на то, чтоб конопатить эти дыры во времени. Надобно заметить, что ей было что порассказать. Она приехала в последние годы царствования покойной императрицы Екатерины портнихой при французской труппе; муж ее был *второй любовник*, но, по несчастию, климат Петербурга оказался для него губелен, особенно после того, как, оберегая с большим усердием, чем нужно женатому человеку, одну из артисток труппы, он был гвардейским сержантом выброшен из окна второго этажа на улицу; вероятно, падая, он не взял достаточных предосторожностей от сырого воздуха, ибо с той минуты стал кашлять, кашлял месяца два, а потом перестал – по очень простой причине, потому что умер. Элиза Августовна овдовела именно в то время, когда муж всего нужнее, то есть лет в тридцать... поплакала, поплакала и пошла сначала в сестры милосердия к одному подагрику, а потом в воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокого ростом, от него перешла к одной княгине и т. д., – всего не перескажешь. Довольно, что она умела чрезвычайно хорошо прилаживаться к нравам дома, в котором находилась, вкрадывалась в доверенность, делалась необходимой, исполняла тайные и явные поручения, хранила на всех действиях какую-то печать клиентизма и унижения, уступала место, предупреждала желания. Словом, чужие лестницы были для нее не круты, чужой хлеб не горек. Она, хохотав и вязав чулок, жила себе беззаботно и припеваючи; ей, вечно втянутой во все маленькие истории, совершающиеся между девичьей и спальней, никогда не приходило в голову о жалком ее существовании. Итак, в скучное время Элиза Августовна тешила своими рассказами, тогда как Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, а Глафира Львовна, ничего не делая, сидела на диване. Элиза Августовна знала тысячи походов и интриг о своих благодетелях (так она называла всех, у кого жила при детях); повествовала их она с значительными добавлениями и приписывая себе во всяком рассказе главную роль, худшую или лучшую – все равно. Алексей Абрамович еще с большим интересом, нежели его жена, слушал скандальные хроники воспитательницы своих детей и хохотал от всего сердца, находя, что это – клад, а не мадам. Почти так тянулся день за днем, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшениями дней, увеличением дней, именинами и рожденьями, и Глафира Львовна, удивляясь, говорила: „Ах, боже мой, ведь послезавтра Рождество, а кажется, давно ли выпал снег!“»

Но где же во всем этом Любонька, бедная девушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсем забыли. В этом она больше нас виновата: она являлась, большею частью молча, в кругу патриархальной семьи, не принимая почти никакого участия во всем происходившем и принося самым этим явный диссонанс в слаженный аккорд прочих лиц семейства. В этой девице было много странного: с лицом, полным энергии, сопрягались апатия и холодность, ничем не возмущаемые, по-видимому; она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафире Львовне было это невыносимо подчас, и она звала ее ледяной англичанкой, хотя андалузские свойства генеральши тоже подлежали большому сомнению. Лицом она была похожа на отца, только темно-голубые глаза наследовала она от Дуни; но в этом сходстве была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметом нового тома кудрявых фраз: жесткие черты Алексея Абрамовича, оставаясь теми же, искуплялись, так сказать, в лице Любоньки; по ее лицу можно было понять, что в Негрове могли быть хорошие возможности, задавленные жизнью и погубленные ею; ее лицо было объяснением лица Алексея Абрамовича: человек, глядя на нее, примирялся с ним. Но отчего же она всегда была задумчива? отчего немного веселило ее? отчего она любила сидеть одна у себя в комнате? Много было на это причин, и внутренних и внешних, – начнем с последних.

Положение ее в доме генерала не было завидно – не потому, чтобы ее хотели гнать или теснить, а потому, что, исполненные предрассудков и лишённые деликатности, которую дает одно развитие, эти люди были бессознательно грубы. Ни генерал, ни его супруга не понимали

странного положения Любоньки у них в доме и усугубляли тягость его без всякой нужды, касаясь до нежнейших фибр ее сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова, часто вовсе без намерения, глубоко оскорбляла ее, а потом он оскорблял ее и с намерением, но вовсе не понимая, как важно влияние иного слова на душу, более нежную, нежели у его управителя, и как надобно было быть осторожным ему с беззащитной девушкой, дочерью и не дочерью, живущей у него по праву и по благодению. Эта деликатность была невозможна для такого человека, как Негров; ему и в голову не приходило, чтоб эта девочка могла обидеться его словами; *что она такое*, чтоб обижаться? Алексей Абрамович, желая укрепить более и более любовь Любоньки к Глафире Львовне, часто повторял ей, что она всю жизнь обязана богу молить за его жену, что ей одной обязана она всем своим счастьем, что без нее она была бы не барышней, а горничной. Он в самых мелочных случаях давал ей чувствовать, что хотя она воспитывалась так же, как его дети, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лет, Негров смотрел на всякого неженатого человека как на годного жениха для нее; заседатель ли приезжал с бумагой из города, доходил ли слух о каком-нибудь мелкопоместном соседе, Алексей Абрамович говорил при бедной Любоньке: «Хорошо, кабы посватался заседатель за Любу, право, хорошо: и мне бы с руки, да и ей чем не партия? Ей не графа же ждать!» Глафира Львовна еще менее не теснила Любоньки, даже в иных случаях по-своему баловала ее: заставляла сытую есть, давала не вовремя варенье и проч.; но и от нее бедная много терпела. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знакомившейся даме представлять Любоньку, присовокупляя: «Это сиротка, воспитывающаяся с моими малютками», – потом начинала шептать. Любонька догадывалась, о чем речь, бледнела, сгорала от стыда, особенно когда провинциальная барыня, выслушав тайное пояснение, устремляла на нее дерзкий взгляд, сопровождая его двусмысленной улыбкой. В последнее время Глафира Львовна немного переменилась к сиротке; ее начала посещать мысль, которая впоследствии могла развиться в ужасные гонения Любоньке; несмотря на всю материнскую слепоту, она как-то разглядела, что ее Лиза – толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но с каким-то прибавлением глупого выражения, – будет всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверх красоты, самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ее. Увидев это, она совершенно была согласна с Алексеем Абрамовичем, что если подвернется какой-нибудь секретарик добренький или заседатель, тоже добренький, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видеть. Сверх сказанного, ее теснило и все окружающее; ее отношения к дворне, среди которой жила ее кормилица, были неловки. Горничные смотрели на нее, как на выскочку, и, преданные аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же они убедились в чрезвычайной кротости Любоньки, в ее невзыскательности, когда увидели, что она никогда не ябедничает на них Глафире Львовне, тогда она была совершенно потеряна в их мнении, и они почти вслух, в минуты негодования, говорили: «Холопку как ни одевай, все будет холопка: осанки, виду барственного совсем нет». Все это мелочи, не стоящие внимания с точки зрения вечности, – но прошу того сказать, кто испытал на себе ряд ничтожных, нечистых названий, оскорблений, – тот или, лучше, та пусть скажет, легки они или нет. К довершению бедствий Любоньки приезжала иногда проживавшая в губернском городе тетка Алексея Абрамовича с тремя дочерьми. Старуха – злая, полубезумная и ханжа – не могла видеть несчастную девушку и обращалась с нею возмутительно. «С какой стати, матушка, – говорила она, покачивая головой, – принарядилась так? а? Скажите пожалуйста! Да вас, сударыня, можно принять за равную моим дочерям! Глафира Львовна, для чего вы ее так балуете? Ведь Марфушка, родная тетка ее, у меня птичницей, рабыня моя; а это с какой стати, право? Да и Алексей-то, старый грешник, постыдился бы добрых людей!» Эти ругательные замечания она заключала всякий раз молитвою, чтоб господь бог простил ее племяннику грех рождения Любоньки. Дочери тетки – три провинциальные грации, из которых старшая года два-три уже стояла на роковом двадцать девятом году, – если не говорили с такою патриархальною

простою, то давали в каждом слове чувствовать Любе всю снисходительность свою, что они удостоивают ее своей лаской. Любонька при людях не показывала, как глубоко ее оскорбляют подобные сцены, или, лучше, люди, окружавшие ее, не могли понять и видеть прежде, нежели им было указано и растолковано; но, уходя в свою комнату, она горько плакала... Да, она не могла стать выше таких обид – да и вряд ли это возможно девушке в ее положении. Глафире Львовне было жаль Любоньку, но взять ее под защиту, показать свое неудовольствие – ей и в голову не приходило; она ограничивалась обыкновенно тем, что давала Любоньке двойную порцию варенья, и потом, проводив с чрезвычайной лаской старуху и тысячу раз повторив, чтоб *chère tante*¹⁸ их не забывала, она говорила француженке, что она ее терпеть не может и что всякий раз после ее посещения чувствует нервное расстройство и живую боль в левом виске, готовую перейти в затылок.

Нужно ли говорить, что воспитание Любоньки было сообразно всему остальному? Кроме Элизы Августовны, никто не учил ее; сама же Элиза Августовна занималась с детьми одной французской грамматикой, несмотря на то, что тайна французского правописания ей не далась и она до седых волос писала с большими промахами. Кроме грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочем, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двух сыновей в университет. Книг в доме Негрова водилось немного, у самого Алексея Абрамовича ни одной; зато у Глафиры Львовны была библиотека; в диванной стоял шкаф, верхний этаж его был занят никогда не употреблявшимся парадным чайным сервизом, а нижний – книгами; в нем было с полсотни французских романов; часть их тешила и образовывала в незапамятные времена графиню Мавру Ильинишну, остальные купила Глафира Львовна в первый год после выхода замуж, – она тогда все покупала: кальян для мужа, портфель с видами Берлина, отличный ошейник с золотым замочком... В числе этих ненужностей купила она десятка четыре модных книг; между ними попались две-три английские, также переехавшие в деревню, несмотря на то, что не только в доме Негрова, но на четыре географические мили кругом никто не знал по-английски. Их она взяла за лондонский переплет; переплет был действительно очень хорош. Глафира Львовна охотно позволяла Любоньке брать книги, даже поощряла ее к этому, говоря, что и она страстно любит чтение и очень жалеет, что многосложные заботы по хозяйству и воспитанию не оставляют ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно; но особенного пристрастия к чтению у ней не было: она не настолько привыкла к книгам, чтоб они ей сделались необходимы; ей что-то все казалось вяло в них, даже Вальтер Скотт наводил подчас на Любоньку страшную скуку. Однако ж бесплодность среды, окружавшей молодую девушку, не подавила ее развития, – совсем напротив, пошлые обстоятельства, в которых она находилась, скорее способствовали усилению мощного роста. Как? – Это тайна женской души. Девушка или с самого начала так прилаживается к окружающему ее, что уж в четырнадцать лет кокетничает, сплетничает, делает глазки проезжающим мимо офицерам, замечает, не крадут ли горничные чай и сахар, и готовится в почтенные хозяйки дома и в строгие матери, или с необычайною легкостью освобождается от грязи и сора, побеждает внешнее внутренним благородством, каким-то откровением постигает жизнь и приобретает такт, хранящий, напутствующий ее. Такое развитие почти неизвестно мужчине; нашего брата учат, учат и в гимназиях, и в университетах, и в бильярдных, и в других более или менее педагогических заведениях, а все не ближе, как лет в тридцать пять, приобретаем, вместе с потерей волос, сил, страстей, ту ступень развития и пониманья, которая у женщины вперед идет, идет об руку с юностью, с полнотою и свежестью чувств.

Любоньке было двенадцать лет, когда несколько слов, из рук вон жестких и грубых, сказанных Негровым в минуту отеческой досады, в несколько часов воспитали ее, дали ей толчок, после которого она не останавливалась. С двенадцати лет эта головка, покрытая темными куд-

¹⁸ милая тетя (*фр.*).

рями, стала работать; круг вопросов, возбужденных в ней, был не велик, совершенно личен, тем более она могла сосредоточиваться на них; ничто внешнее, окружающее не занимало ее; она думала и мечтала, мечтала для того, чтоб облегчить свою душу, и думала для того, чтоб понять свои мечты. Так прошло пять лет. Пять лет в развитии девушки – огромная эпоха; задумчивая, скрытно пламенная, Любонька в эти пять лет стала чувствовать и понимать такие вещи, о которых добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своих мыслей, упрекала себя за свое развитие – но не усыпила деятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся в груди; под конец, не имея силы носить всего в себе, она попала на мысль, очень обыкновенную у девушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нечто вроде журнала; для того чтоб познакомиться вас с нею, выписываем из этого журнала следующие строки:

«Вчера вечером, сидела я долго под окном; ночь была теплая, в саду так хорошо... Не знаю, отчего мне все делалось грустнее и грустнее; будто темная туча поднялась из глубины души; мне было так тяжело, что я плакала, горько плакала... У меня есть отец и мать, но я сирота: я одна-одинехонька на всем белом свете, я с ужасом чувствую, что *никого не люблю*. Это страшно! На кого ни посмотришь, все любят кого-нибудь; мне все чужие, – хочу любить и не могу. Мне иногда кажется, что я люблю Алексея Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру, – но я себя обманываю. Алексей Абрамович так жестко обращается со мной, он мне больше чужой, нежели Глафира Львовна; но он отец мой, – разве дети судят своего отца? разве они любят его за что-нибудь? Его любят за то, что он отец, – я не могу. Сколько раз давала я себе слово с кротостью слушать его несправедливые упреки, не могу привыкнуть... Как только Алексей Абрамович становится жесток, мое сердце бьется сильнее, и кажется, если б я дала себе волю, то отвечала бы ему с той же жесткостью... Любовь мою к матери у меня испортили, отняли; едва четыре года, как я узнала, что она – моя мать; мне было поздно привыкнуть к мысли, что у меня есть мать: я ее любила как кормилицу... Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мне неловко с ней; я должна многое скрывать, говоря с нею: это мешает, это тяготит; надобно все говорить, когда любишь; мне с нею не свободно; добрая старушка – она больше дитя, нежели я; да к тому же она привыкла звать меня барышней, говорить мне вы, – это почти тяжелее грубого языка Алексея Абрамовича. Я молилась о них и о себе, просила бога, чтоб он очистил мою душу от гордости, смирил бы меня, ниспослал бы любовь, но любовь не снизошла в мое сердце».

Через неделю. – «Неужели все люди похожи на них, и везде так живут, как в этом доме? Я никогда не оставляла дома Алексея Абрамовича, но мне кажется, что можно лучше жить даже в деревне; иногда мне невыносимо тяжело с ними, – или я одичала, сидя все одна? То ли дело, как уйду в липовую аллею да сяду на лавочке в конце ее и смотрю вдаль, – тогда мне хорошо, я забываю их; не то чтоб весело, скорее грустно – но хорошо грустно... Под горою село; люблю я эти бедные избы крестьян, речку, текущую возле, и рощу вдали; я целые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь – то песня раздастся вдали, то стук цепов, то лай собак и скрип телег... А тут, лишь только увидят мое белое платье, бегут ко мне крестьянские мальчишки, приносят мне землянику, рассказывают всякий вздор; и я слушаю их, и мне не скучно. Какие славные лица у них, открытые, благородные! Кажется, если б их воспитать так, как Мишу, что за люди из них вышли бы! Они приходят иногда к Мише на господский двор, только я прячусь там от них: наши дворовые и сама Глафира Львовна так грубо обращаются с ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бедняжки, стараются всем на свете услужить брату, бегают, ловят ему белок, птиц, – а он обижает их... Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачет, когда рассказывают что-нибудь печальное, а иногда я удивлялась ее жестокости; она, как будто стыдась, всегда говорит: „Они этого не понимают, с ними нельзя обходиться по-человечески,

тотчас забудутся“. Мне не верится: видно, крестьянская кровь моей матери осталась в моих жилах! Я всегда с крестьянками говорю, как с другими, как со всеми, и они меня любят, носят мне топленое молоко, соты; правда, они мне не кланяются в пояс, как Глафире Львовне, зато встречают всегда с веселым видом, с улыбкой. . . Не могу никак понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всех гостей, которые ездят к нам из губернского города и из соседства, и гораздо умнее их, – а ведь те учились и все помещики, чиновники, – а такие все противные. . .»

Вероятно ли, чтоб девушка, воспитанная в патриархальной семье Негрова, лет семнадцати от роду, никуда не выезжавшая, мало читавшая, еще менее видевшая, так чувствовала? – За фактическую достоверность журнала отвечает совесть собиравшего документы; за психическую позвольте вступить мне. Странное положение Любоньки в доме Негрова вы знаете; она, от природы одаренная энергией и силой, была оскорбляема со всех сторон двусмысленным отношением ко всей семье, положением своей матери, отсутствием всякой деликатности в отце, считавшем, что вина ее рождения падает не на него, а на нее, наконец, всей дворней, которая, с свойственным лакеям аристократическим направлением, с иронией смотрела на Дуню. Куда же было деться Любоньке, отовсюду отталкиваемой? Она, может быть, бежала бы в полк или не знаю куда, если б она была мужчиной; но девушкой она бежала в самое себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли; когда мало-помалу часть бродившего в ее душе стала оседать, когда не было удовлетворения естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, – она схватила перо, она стала писать, то есть высказывать, так сказать, самой себе занимавшее ее и тем облегчить свою душу.

Немного надо проницательности, чтоб предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским при тех обстоятельствах, при которых они встретились, даром не пройдет. Едва многолетние усилия воспитания и светская жизнь достигают до притупления в молодых людях способности и готовности любить. Любонька и Круциферский не могли не заметить друг друга: они были одни, они были в степи. . . Долгое время застенчивый кандидат не смел сказать с Любонькой двух слов; судьба их познакомила молча. Первое, что сблизило молодых людей, была отеческая простота в обращении Негрова с своими домашними и с прислугой. Любонька целой жизнью, как сама высказала, не могла привыкнуть к грубому тону Алексея Абрамовича; само собою разумеется, что его выходки действовали еще сильнее в присутствии постороннего; ее пылающие щеки и собственное волнение не помешали, однако ж, ей разглядеть, что патриархальные манеры действуют точно так же и на Круциферского; спустя долгое время и он, в свою очередь, заметил то же самое; тогда между ними устроилось тайное понимание друг друга; оно устроилось прежде, нежели они поменялись двумя-тремя фразами. Как только Алексей Абрамович начинал *шпынять* над Любонькой или поучать уму и нравственности какого-нибудь шестидесятилетнего Спирьку или седого как лунь Матюшку, страдающий взгляд Любоньки, долго прикованный к полу, невольно обращался на Дмитрия Яковлевича, у которого дрожали губы и выходили пятна на лице; он точно так же, чтоб облегчить тяжело-неприятное чувство, искал украдкой прочесть на лице Любоньки, что делается в душе ее. Они сначала не думали, куда поведут эти симпатические взгляды – их больше, нежели кого-нибудь, потому что во всем их окружавшем не было ничего, что могло бы не только перевесить, но держать в пределах, развлекать возникавшую симпатию; совсем напротив, совершенная чуждость остальных лиц способствовала ее развитию.

Я никак не намерен рассказывать вам слово в слово повесть любви моего героя: мне музы отказали в способности описывать любовь:

О ненависть, тебя пою!

Скажу вам вкратце, что через два месяца после водворения в доме Негрова Круциферский, от природы нежный и восторженный, был безумно, страстно влюблен в Любоньку. Любовь его сделалась средоточием, около которого расположились все элементы его жизни; ей он подчинил все: и свою любовь к родителям, и свою науку – словом, он любил, как может

любить нервная, романтическая натура, любил, как Вертер, как Владимир Ленский. Долго не признавался он сам себе в новом чувстве, охватившем всю грудь его, еще долее не высказывал его ей, даже не смел об этом думать, – по большей части и не следует думать: такие вещи делаются сами собою.

Однажды после обеда, когда Негров в кабинете, а Глафира Львовна в диванной отдыхали, в зале сидела Любонька, и Круциферский читал ей вслух стихотворения Жуковского. До какой степени опасно и вредно для молодого человека читать молодой девице что-нибудь, кроме курса чистой математики, это рассказала на том свете Франческа да Римини Данту, вертясь в проклятом вальсе *della bufera infernale*¹⁹: она рассказала, как перешла от чтения к поцелую и от поцелуя к трагической развязке. Наши молодые люди этого не знали и уже несколько дней раздували свою любовь Жуковским, которого привез кандидат. Пока они читали «Ивиковы журавли», все шло хорошо, но, открыв убийцу по этому делу, они перешли к «Алине и Альсиму», – тогда случилось вот что. Круциферский, прочитав дрожащим голосом первую строфу, отер с лица своего пот и, задыхаясь, осилил еще следующие стихи:

Когда случится жизни в цвете
Сказать душой
Ему: ты будь моя на свете, –

остановился и зарыдал в три ручья; книга выпала у него из рук, голова склонилась – и он рыдал, рыдал безумно, рыдал, как только может рыдать человек, в первый раз влюбленный. «Что с вами?» – спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно и слезы навернулись на глазах. «Что с вами?» – повторила она, боясь всей душой ответа. Круциферский схватил ее руку и, одушевленный какой-то новой, неведомой силой, не смея, впрочем, поднять глаз, сказал ей: «Будьте, будьте моей Алиной!.. я... я...» Больше он не мог ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку; ее щеки пылали, она заплакала и вышла вон. Круциферский не сделал ничего, чтоб остановить ее; вряд ли даже желал он этого. «Боже мой! – думал он, – что я наделал... Но она так тихо, так кротко вынула свою руку...» И он опять плакал, как ребенок.

Вечером в тот день Элиза Августовна сказала шутя Круциферскому: «Вы, верно, влюблены? рассеянны, печальны...» Круциферский покраснел до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вам загадаю на картах?» Дмитрий Яковлевич испытал все, что может испытать злейший преступник, не знающий, что известно производящему следствие и на что он намекает. «Ну что же, хотите?» – спрашивала неотвязчивая француженка.

– Сделайте одолжение, – отвечал молодой человек.

И вот Элиза Августовна начала с какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вот *дама de vos pensées*...²⁰ да вы пресчастливей: она легла возле вашего сердца!.. Поздравляю, поздравляю... возле червонный туз... она вас очень любит... Это что? – не смеет вам сказать. Да вы что за жестокий кавалер, заставляете ее страдать!» и проч. При каждом слове Элиза Августовна устремляла на него пронизательные глазки свои и радовалась от всей души пытке, которой подвергала несчастного молодого человека. «*Raivez jeune homme*²¹, она вас не заставит так страдать, – ну, где же найти такую каменную душу... Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Верно, нет!» – Круциферский бледнел, краснел, синел, желтел – и, наконец, спасся бегством. Пришедши к себе в комнату, он схватил лист бумаги; сердце его билось; он восторженно, увлекательно изливал свои чувства; это было

¹⁹ адского вихря (*ит.*).

²⁰ владеющая вашими помыслами (*фр.*).

²¹ Бедный молодой человек (*фр.*).

письмо, поэма, молитва; он плакал, был счастлив – словом, писавши, он испытал мгновения полного блаженства. Эти мгновения, обыкновенно реющие, как молния, – лучшее, прекраснейшее достояние нашей жизни, которого мы не умеем ценить, и вместо того чтоб упиваться им, мы торопимся, тревожные, ожидающие все чего-то в будущем. . .

Окончив послание, Круциферский сошел вниз. Пили чай. Любонька не выходила из своей комнаты, у ней болела голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обратил внимания. Алексей Абрамович глубокомысленно курил свою трубку (вы, вероятно, не забыли, что его вид был оптический обман). Элиза Августовна, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно с ним поговорить. Разговор не вязался: Миша дразнил собаку, она лаяла, Негров велел ее выгнать; наконец горничная с холстинными рукавами унесла самовар, Алексей Абрамович раскладывал гранпасьянс, Глафира Львовна жаловалась на боль в голове. Круциферский вышел в залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была уж там. «Когда смеркнется, выйдите на балкон; вас будут ждать», – сказала она. Круциферский был ни жив ни мертв. . . Верить ли, нет ли?.. Ему назначено свиданье; может быть, она, негодующая, хочет высказать ему свой гнев, может. . . И он выбежал в сад: ему показалось, что вдали, в липовой аллее, мелькнуло белое платье, но идти туда он не смел, он не знал даже, пойдет ли он на балкон, – да разве для того, чтоб отдать письмо, на одну минуту – только отдать. . . но страшно вздумать, как взойти на балкон. . . Он посмотрел вверх: в углу балкона виднелось, несмотря на то что совсем смерклось, белое платье. Это она, она, грустная, задумчивая, – она, быть может, любящая!.. И он стал на первую ступеньку лестницы, которая вела из сада на балкон. Как он достигнул наконец верхней, я не берусь вам передать.

– Ах, это вы? – спросила *Любонька* шепотом.

Он молчал, захлебываясь воздухом, как рыба.

– Какой вечер прекрасный! – продолжала *Любонька*.

– Простите меня, простите, бога ради! – отвечал Круциферский и рукою мертвеца взял ее руку. *Любонька* не отдергивала.

– Прочтите эти строки, – сказал он, – и вы узнаете то, о чем мне говорить так трудно. . .

Снова поток слез оросил его пылающие щеки. *Любонька* жала его руку; он облил слезами ее руку и осыпал поцелуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевление его росло, и не знаю, как случилось, но уста его коснулись ее уст; первый поцелуй любви – горе тому, кто не испытал его! *Любонька*, увлеченная, сама запечатлела страстный, долгий, трепещущий поцелуй. . . Никогда Дмитрий Яковлевич не был так счастлив; он склонил голову себе на руку, он плакал. . . и вдруг. . . подняв ее, вскрикнул:

– Боже мой, что я наделал!

Он тут только разглядел, что это была вовсе не *Любонька*, а Глафира Львовна.

– Друг мой, успокойся! – сказала умирающая от избытка жизни Негрова, но Дмитрий Яковлевич давно уже сбежал с лестницы; сойдя в сад, он пустился бежать по липовой аллее, вышел вон из сада, прошел село и упал на дороге, лишенный сил, близкий к удару. Тут только вспомнил он, что письмо осталось в руках Глафиры Львовны. Что делать? – Он рвал свои волосы, как рассерженный зверь, и катался по траве.

Для пояснения странного *qui pro quo*²² нам надобно приостановиться и сказать несколько пояснительных слов. Маленькие глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и приобретенные к делу, заметили, что с тех пор как семья Негрова увеличилась вступлением в нее Круциферского, Глафира Львовна сделалась несколько внимательнее к своему туалету; что блуза ее как-то иначе надевалась; появились всякие воротнички, разные чепчики, обращено было внимание на волосы, и густая коса Палашки, имевшая несчастье подходить под цвет остатков шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, несмотря на то что ее уже

²² недоразумения (*лат.*).

немножко подъела моль. В самом мягком и дородном лице почтенной матери семейства оказались какие-то новые черты, доселе тихо скрывавшиеся в полноте ее ланит; то улыбка – и глаза сделаются масляные, то вздох – и глаза сделаются медовые... Элиза Августовна не проронила ни одной из этих перемен; когда же она, случайно зашедши в комнату Глафиры Львовны во время ее отсутствия и случайно отворив ящик туалета, нашла в нем початую баночку *rouge végétal*²³, которая лет пятнадцать покоилась рядом с какой-то глазной примочкой в кладовой, – тогда она воскликнула внутри своей души: «Теперь пора и мне выступить на сцену!» В тот же вечер, оставшись наедине с Глафирой Львовной, мадам начала рассказывать о том, как одна – разумеется, княгиня – интересовалась одним молодым человеком, как у нее (то есть у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангел-княгиня сохнет, страдает; как княгиня, наконец, пала на грудь к ней, как к единственному другу, и живописала ей свои волнения, свои сомнения, прося ее совета; как она разрешила ее сомнения, дала советы; как потом княгиня перестала сохнуть и страдать, напротив, начала толстеть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечерним огнем своим от этих рассказов. Обыкновенно думают, что толстые люди не способны ни к какой страсти, – это неправда: пожар бывает очень продолжителен там, где много жирных веществ, – лишь бы разгореться. А Элиза Августовна, как видите, заняла должность раздувательных мехов и раздула маленькие эротические искорки, бегавшие по Глафире Львовне, в довольно большой огонек. Она не дошла, правда, до того, чтобы Глафира Львовна ей поверила свою тайну; она имела даже великодушие не вынуждать у нее признания, потому что это было вовсе не нужно: она хотела иметь Глафиру Львовну в своей власти – и успех был несомненен. Глафира Львовна в продолжение двух недель сделала ей два подарка – купавинской фабрики платок и одно из своих шелковых платьев.

²³ румян (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.